

**МЕТОДИЧЕСКОЕ ПИСЬМО
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА
27 МАРТА**

Уважаемые коллеги!

27 марта культурная общественность отмечает профессиональный день театра. Народный театр – это не только творческая площадка, где на его подмостках жизнь народная получает наиболее адекватные своему характеру и содержанию образы и формы, на них оживают идеалы и представления народа, оттачиваются его мысли и философия, но это еще и школа социального и политического обучения, практического участия в общественной жизни, осознания своего патриотического долга перед Родиной.

Лучшим инструментом для реализации этой задачи служат агитбригады, волонтеры, секторы «Наследники», которые совместно с театральными народными коллективами, а также с педагогами школ могут вести тематическую работу, привлекая детей и молодежь.

Сегодня существует направление в работе – Российское движение детей и молодежи, запущены проекты, например, «Пушкинские горы», цикл информационно-просветительских уроков по тематическим праздникам, в том числе и к Дню театра – все это напрямую связано со школой – театром в школе. Республиканский Дом народного творчества МК РД имеет в своем арсенале довольно большой сценарный материал в помощь театральным народным коллективам. Можно назвать и пособия репертуарно-методического содержания для народных театров, конкурсы и мастер-классы и другие творческие возможности, которые адресованы в помощь КДУ, центрам культуры, любительским народным коллективам.

РДНТ МК РД рекомендует ряд репертуарно-методических материалов для работы:

- «Культура и традиции народов России» – духовно-нравственная составляющая воспитания детей, молодежи, населения». Методико-репертуарный сборник в помощь центрам традиционной культуры народов России. – Махачкала: РДНТ МК РД, 2016. – 136 с.
- «Методика подготовки и составления сценариев». Методико-репертуарный сборник в помощь режиссерам народных театров и драматических коллективов. – Махачкала: РДНТ МК РД, 2016. – 108 с.
- «Работаем над сценической речью». Методические рекомендации в помощь ведущим, режиссерам народных театров ЦТКНР. – Махачкала: РДНТ МК РД, 2016. – 40 с.
- «Учимся читать стихи». Методические рекомендации в помощь ЦТКНР – Махачкала: РДНТ МК РД, 2016. – 82 с.
- «Читаем стихи и прозу о Родине». Репертуарный сборник в помощь ведущим, режиссерам ЦКНР. – Махачкала: РДНТ МК РД, 2016. – 90 с.
- «Театр в школе». Методико-репертуарный сборник для КДУ, ЦК, любительских творческих коллективов МО РД. – Махачкала: РДНТ МК РД, 2023. – 48 с.
- «Голос Расула через века». Репертуарно-методический сборник для КДУ, центров культуры МО РД. – Махачкала: РДНТ МК РД, 2023. – 95 с. и др., которые вы можете найти на нашем сайте **www.dagfolkultura.ru**

Основная цель этих материалов – популяризация родовых и семейных ценностей, принятых в Дагестане, сохранение традиций и обычаев, поощрение уважения к старшим, воспитание патриотизма и любви к родине, отрицание любых форм экстремизма.

Сегодня непростые времена переживает Россия. Патриотизм, любовь к Родине – большой и малой – это, с одной стороны, понятия вечные, нетленные, органично присущие каждому человеку; с другой, мы вновь и вновь обращаемся к ним, снова и снова осмысливаем эти понятия, бережно передаем и разъясняем их смысл нашим детям и молодежи. Это связано с

тем, что меняются времена, поколения сменяют поколения и старые, давно знакомые вроде бы понятия обретают новую глубину, открывают неизвестные измерения... Но, если наше чувство к Родине, к родной природе исчерпывающе выражается словом «любовь», то патриотизм, конечно, одним этим словом не выразить. Патриотизм – это больше, чем чувство, больше, чем просто любовь; патриотизм активен, деятелен, он требует от нас не только слов, но и дел, он не только лирическое песнопение, но и боевая песня, не только наслаждение и восторг, но и жертвенность и забвение личного ради общественного.

Конечно, все эти нюансы чувств и мыслей по плечу только поэзии, только поэтическому слову, ритмическому, зарифмованному потоку строк. В русской, да и не только русской литературе есть множество образцов прозаических, драматургических, живописных произведений, посвященных теме патриотизма.

Учитывая специфику Дагестана, издревле славящегося любовью к поэзии, родины поэтов, как его заслуженно называют в России и в мире, а тем более в Год 100-летия народного поэта Р. Гамзатова, в приложении вы найдете подборку стихотворений юбиляра, а также авторов разных эпох и национальностей, возрастов и поколений. Но все они связаны одной сквозной темой – темой патриотизма, любовью к своей Родине, к ее истории и будущему.

Очень важно транслировать со сцены мотивы патриотизма и любви к Отечеству, ценности традиционной культуры, заботу об экологии, нашей Земле. Важно с помощью потенциала народного театра внушать молодежи любовь к природе, причем не просто в отвлеченном смысле, но и конкретно по отношению к деревьям вокруг нас, к траве, кустарникам, паркам и аллеям – всего того, что нас окружает. Известно, что дети легче воспринимают отвлеченные идеи и вопросы, поданные наглядно, зримо, в образной форме. Раз увиденная убедительная сцена о красоте и ценности природы, о

необходимости бережного отношения к ней, важности ее сохранения для грядущих поколений – может навсегда стать правилом для ребенка.

В этом смысле очень важен репертуар народного театра, содержание пьес, принятых для постановки их коллективами. Такие авторы как К.Г. Паустовский, И.С. Тургенев, А.П. Чехов, Л.Н. Толстой и другие оставили нам наследие, которое вполне может быть использовано в этих целях. Их любовь к природе и человеку выражена в бессмертных литературных шедеврах. Однако не следует пренебрегать и современниками, не забывать и про молодых авторов, может быть, даже заказывать им пьесы, отвечающие текущим потребностям народного театра.

Хорошая, с глубоким пониманием природы написанная и поставленная пьеса способна иногда совершить переворот в душе молодого зрителя, разом внушить ему, что ценности, дара, которые были для человека выше, чем окружающая его природа, в мире нет. А вывод, как относиться к ней, как ее беречь, как поддерживать ее красоту и производительные силы, он сделает уже сам.

С учетом всех указанных выше проблем, возможностей и перспектив нам и следует продолжать совместную работу в области традиционной культуры и народного театра, опираясь на агитбригады, секторы «Наследники», волонтеров, тесно сотрудничая со школами РД.

Творческих успехов в нашей совместной работе!

**Расул Гамзатов
(1923-2003)**

8 сентября 1923 – 3 ноября 2003 – советский и российский поэт, прозаик, переводчик, публицист и политический деятель. Народный поэт Дагестанской АССР (1959). Лауреат Сталинской и Ленинской премий. Герой социалистического труда. Кавалер ордена Андрея Первозванного.

В мир большой я из малого вышел селенья
И в долину спустился с моей крутизны,
Чтоб на малом наречье, горя вдохновеньем,
Песни петь для большой стоязыкой страны.

С незапамятных пор, замурованный в камень,
Мой народ, был ты беден, и дик, и забит.

Но теперь, окруженный своими друзьями,
Защищен ты надежно от бед и обид.

И с другими в ряду ты готов, если нужно,
Кровь пролить за друзей, в единенье влюблен.

Непреложный закон человеческой дружбы –
Самый мудрый на этой планете закон.

Он – страница заглавная в каждой поэме,
Все живое о нем говорит и поет.

Я люблю тебя в дружбе с народами всеми,
Я люблю тебя в братстве, мой щедрый народ.

Родился я в горах, где по ущелью
Летит река в стремительном броске,
Где песни над моею колыбелью
Мать пела на аварском языке.

Она тот день запомнила, наверно,
Когда с глазами, мокрыми от слёз,
Я слово "мама", первое из первых,
На языке аварском произнёс.

Порой отец рассказывал мне сказки.
Ни от кого не слышал я таких
Красивых и волшебных...
По-аварски герои разговаривали в них.

Люблю язык тех песен колыбельных
И сказок тех, что в детстве слышал я.
Но рассказал о далях беспредельных
И всех сограждан отдал мне в друзья.

Числю первым сокровищем горы.
Вознесенный вершинами гор,
Не пустые вести разговоры
Я обязан – их парламентар.

А второй сокровище – Каспий,
Он украсит любую казну.
И в слова, что чеканю не наспех,
Мне вложить бы его глубину.

Составляют сокровище третье
Лес и поле, река и ручей,
Алычи захмелевшей соцветья,
Пурпур утра и звезды ночей.

Время – в каждое тысячелетье –
При сокровищах лишь казначей.

Люблю тебя, мой маленький народ

Умешь ты печаль сурово
Встречать без слёз, без суеты.
И без веселья показного
Умешь радоваться ты.

И не твои ль напевы схожи
С полётом медленным орла,
А пляски – с всадником, чья лошадь
Летит, забыв про удила.

Характер гордый твой не стёрся,

И в речи образность живёт.
О, как люблю я сердцем горца
Тебя, мой маленький народ!

В теснине горной, где повита
Туманом кряжистая цепь,
Душа твоя всегда открыта
И широка всегда, как степь.

Живёшь, с соседями не ссорясь,
Ты, сняв свой дедовский кинжал,
И я уже не тёмный горец,
И ты иным сегодня стал.

У ног твоих гремят составы,
С плеча взлетает самолёт.
Люблю, как сын большой державы,
Тебя, мой маленький народ!

Земля моя

На груди материнской
Ребёнок заснул безмятежно.
Так и я среди гор
Засыпаю в долине родной.
И, от зноя укрыв,

Чередою плывут белоснежной
Облака, облака
Над аулом моим, надо мной.
И, как ласковый дед,
Что склонился над люлькою внука,
Над моим изголовьем
Склонился раскидистый дуб.
И уже я забыл,
Что на свете бывает разлука
И что свет этот белый
Порою на радости скуп.
Бесноватой реки
Я гортанное слышу наречье –
Это песня потока,
По камням летящего с гор.
В этой песне душа,
В этой песне слова человечьи,
Наизусть эту песню
Я знаю с младенческих пор.
Я вернулся домой,
И меня здесь приветствовать рады
Седовласые горы,
Почтенные, как старики.
И, как очи любимой,
Как очи моей Шахразады,

Чистотою своей
Опьяняют меня родники.
Как мне дорог всегда
Ты, надоблачный край мой орлиный,
Что учил меня жить
И, любя, не жалел ничего,
Дал мне мужество ты,
Познакомил с геройской былиной,
Дал мне звонкою песню
Родного отца моего.

Вершина далекая кажется близкою

Вершина далекая кажется близкою.
С подножья посмотришь - рукою подать,
Но снегом глубоким, тропой каменистою
Идешь и идешь, а конца не видать.

И наша работа нехитрою кажется,
А станешь над словом сидеть-ворожить,
Не свяжется строчка, и легче окажется
Взойти на вершину, чем песню сложить.

Пер. Н. Гребнева

Стихи о Каспии

Весною те же птицы здесь гнездятся,
Спешат отары на родной простор.
И лишь ручьи назад не возвратятся,

Стремительно сбегающие с гор.

Нередко их журчаний отголоски
Я слышал в сердце на пути своем,
Они, казалось, были как подростки,
Что ищут красоту в краю чужом.

Прошли года, и я увидел Каспий, –
Мне чудный мир открылся, как во сне.
Какая широта, какие краски
Слились в его небесной глубине!

И понял я, в потоки рек влюбленный,
Что их стремленье вниз не усмирить.
В лазури этой, солнцем озаренной,
Я сам хотел бы душу растворить.

2

Когда-то над моею колыбелью,
Чтоб от напастей с детства оградить,
Висело из ракушек ожерелье...
Доныне берегу я эту нить.

Ракушки пели мне про крики чаек,
Прибоя шум таинственно храня...
И я еще не знал, что означает
Та сладостная песня для меня.

Но до сих пор я слышу звуки эти
И только с ними нахожу покой.
Я забываю обо всем на свете,

Когда стою, мой Каспий, пред тобой.

На берегу твоём я камнем стану
Иль в даль морскую уплыву, как челн...
Я счастлив оттого, что к Дагестану
Стремишь ты широту бурлящих волн.

Тот никогда для счастья не потерян,
Кому ты стал с рождения как брат.
И Рафаэля краски – я уверен –
Всей красоты твоей не отразят.

Теперь понятно мне, что означает
Кипучий твой простор в моей судьбе...
Мать колыбель по-прежнему качает,
Поют ракушки песню о тебе...

Море

Не в праздный час (он неизвестен мне)
Стремлюсь к тебе и жду с тобою встречи.
Люблю побыть с тобой наедине,
Когда мне горе падает на плечи.
Люблю, когда бескрайняя вода
У ног моих седеет и вздыхает.
На берег твой я выхожу всегда,
Когда для песен слов мне не хватает.
Люблю твой грохот у подножья гор,
И чайки крик, и маяки в тумане;

В час бури твои рокочущий простор
Всегда напоминает поле брани.
Люблю смотреть, как волны предо мной
То, как враги, сойдутся в злобной пене,
То вдруг, устав, одна перед другой
Как бы в бессилье встанет на колени
И белый парус выбросят вдали,
Как будто флаг рука парламентаря.
И вот из бухт выходят корабли
И вдалеке скрываются от взора.
Они уйдут, и берег, может быть,
Им на солёном вспомнится просторе.
Так я, уехав, не могу забыть
Скалистый берег вспененного моря.

Покуда вертится земля

Я солнце пил, как люди воду,
Ступая по нагорьям лет
Навстречу красному восходу,
Закату красному вослед.

В краю вершин крутых и гордых,
Где у сердец особый пыл,
Я звезды пил из речек горных,
Из родников студёных пил.

Из голубой небесной чаши
В зеленых чашах и лугах
Я жадно воздух пил сладчайший,
Настоянный на облаках.

Я пил снежинки, где тропинки
Переплелись над крутизной.
И помню: таяли снежинки,
В пути, пригубленные мной.
Я весны пил, когда о севе
В горах пекутся там и тут.
Где крепок градусами Север,
Я пил мороз, как водку пьют.

Когда я грозы пил, бывало,
Чья слава землям дорога,
Как будто верхний край бокала,
Сверкала радуга-дуга.

И вновь шиповник цвел колючий,
Сочился хмель из темных скал.
Я, поднимавшийся на кручи,
Хмельные запахи вдыхал.

Земной красой я упивался,
Благословлял ее удел.
Не раз влюблялся, убивался
И песни пил, как песни пел.

Людской души сложна природа, –
Я пил с друзьями заодно
В час радости – бузу из меда,
В час горя – горькое вино.

И если сердцем пил, то не пил
Забавы ради и утех.
Я Хиросимы видел пепел,
Я фестивалей слышал смех.

И, резко дунув, как на пиво,
Чтобы пустую пену сдуть,
Пил жизни суть: она не лжива,
Она правдива – жизни суть.

Люблю, и радуюсь, и стражду,
И день свой каждый пью до дна,
И снова ощущаю жажду,
И в том повинна жизнь одна.

Пускай покину мир однажды
Я, жажды в нем не утоля,
Но людям жаждать этой жажды,
Покуда вертится Земля.

Муэтдин Чаринов
(1893-1936)

Чаринов родился в селе Хурукра (ныне Лакский района Дагестана) 23 мая 1893 года. В 1914 году он окончил реальное училище в Темир-Хан-Шуре и стал учителем. В период с 1921 по 1927 годы обучался в сельскохозяйственном институте в Баку. В 1930-е годы работал в Дагестанском НИИ. Незаконно репрессирован. Реабилитирован посмертно. Первые произведения Чаринов написал в 1910 году. В основном они посвящены тяжелой доле простого человека, крестьянина, горца. Его стихи этого периода пронизаны чувством веры в неизбежное наступление лучших времен и для горца, для горянки... Кстати, тема раскрепощения женщины, женского образования, всегда занимавшая в поэзии Чаринова большое место, после Октябрьской революции получила новое дыхание. Этой теме посвящены как стихотворения Чаринова, так и его драматические произведения – «Габибат и Гаджияв» и «Шагалай». Также Чаринов впервые перевёл на лакский язык ряд произведений И.А. Крылова, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова.

Отчий край

Любовь, питающая детство, -
Как лучезарное крыло.
И сердцу не забыть то место,
Где детство быстрое прошло.

В тот миг, когда открыл я веки,
Когда вдохнул я запах гор,

В душе моей запели реки,
Запел твой солнечный простор.

И окажись я вдруг на троне,
Парчой покрытой золотой,
Я предпочел бы той короне
Анчара холод ледяной.

И пусть напитки дорогие
Мне пить из редкостных плодов,
Но и во дни мои такие
Мне слаще холод родников.

Пусть птицы предаются песне,
Пусть райский сад цветет вокруг,
Из памяти ты не исчезнешь,
Упрятанный в горах мой луг.

Всех благ и всех открытий века
Ты мне дороже, Дагестан, -
Моя единственная Мекка,
Моих раздумий океан.

Твой снег нетающий, вершинный,
Слепящий, крепкий, как алмаз,

Твои долины и равнины
И слух мой радуют, и глаз.

И если кто твой дух высотный
Не видит, что ж увидит он?
Он, бедный, словно куст бесплодный,
Забвенью будет обречен.

Родина лаков

I
Ах, отечество, родина лаков,
Ты любимая наша мать!
Пусть сулит нам чужбина благо -
От тебя нас не оторвать.

Нам в чужих, незнакомых сранах
Не забыть аулов твоих,
На чужих лугах и полянах
Не забыть утесов родных.

Твои горы, ущелья, реки
И вершинного снега спав
Мы не можем отдать вовеки
За любое благо из благ.

Чуть весна - лишь к тебе дорога,
Как поэт к роднику любви,
Мы стремимся к тебе, убогой,
Уповая на песни твои.

Сладок воздух твой сочно-синий,
Как щербет или мед густой.
Будь в Париже мы иль в Берлине,
Наше сердце всегда с тобой.

II

Ах, отечество лаков, я вижу,
Нищету твоих ветхих лачуг.
Говорят, дагестанским Парижем
Называют безумцы Кумух.

Разодеты сыны его дома:
Газыри, перетянутый стан,
Будто бедность таким не знакома,
Будто каждый воистину хан.

Но тому, кто знаком с этой новью,
Будет ясен такой маскарад:
Сколько силы и сколько здоровья
Стоит горцу подобный наряд.

В добровольном изгнанье годами,
Дни и ночи трудись и потей,
Чем ему - посудите же сами -
Прокормить и жену и детей?

Аткай
(1910-1988)

Аткай (Аджаматов – Аткай Акимович) родился 27 июня 1910 года, Андрейаул – умер в 1998, Махачкала) – кумыкский поэт, прозаик, драматург и переводчик; народный поэт Дагестана. В 1929 году окончил первый Буйнакский педагогический техникум. Учился на высших литературных курсах при Литературном институте им. А.М. Горького в Москве. В дальнейшем в течение многих лет работал консультантом правления Союза писателей Дагестана, руководил секцией кумыкских писателей. Член Союза писателей СССР с 1934 года. В 1937 года был необоснованно репрессирован; спустя полтора года, ввиду недоказанности вины, был освобождён. На протяжении десятилетий являлся одним из неофициальных лидеров кумыкской интеллигенции.

Дом мой на распутье двух дорог

Дом мой на распутье двух дорог.

Лишь окно открою, предо мною

Синий Каспий плещется у ног,

Тарки-Тау встала за спиною.

Густ, как мед, в низине летний зной,

Над волнами чайка проскользила,

А к вершине близится предзимье,

И сентябрь осыпал желтизной

Заросли багряного кизила.

Там кипят на склонах родники,

Песни их снимают утомленье.

Мудрые, как время, старики,

Речи не спеша ведут в селенье.
Канет день, туманится вода,
Море перекатывает камни.
И маяк далекие суда
Обнимает белыми руками.

Голуби воркуют за окном.
Тополя поблескивают влагой.
Тень листвы раскачивает дом,
Просится на белую бумагу.

Обо всем подумай – и пиши.
Но стою я снова на пороге:
Не сидится никогда в тиши,
От души пишу я лишь в дороге.

Гора Тарки-Тау

Ветками стреножены ветра,
Строже белый город у подножья,
По тропе извилистой с утра
Я опять спешу к тебе, гора.
Для кумыка ты всех гор дороже.

Много шрамов на твоих боках
Саблями оставили века.

Кровь текла
По склонам, будто реки.
Помнишь ты, гора, наверняка,
Как страдали и любили предки.
Помнит каждый каменистый скат
Посвист пуль и батарей раскат.
На поживу грифам и шакалам
Здесь швыряли бунтарей со скал,
Развлекая хмурого шамхала*.

Ты растила истинных мужчин,
Что могли пришельцев проучить,
Зная цену дружбы нерушимой.
Наскочив на острые мечи,
Захромал сильнее Темучин*,
Так и не добравшись до вершины.
Путь закрыла ворогам гора,
Но, к друзьям приветна и щедра,
Дагестан с Россией породнила,
Хлебом-солью встретила Петра.

И недаром с той поры в Тарках,
Русого приветив кунака,
В честь него, под перезвон стаканов,
Мальчиков аульских нарекать

Стали О-Рус-бием, О-Рус-ханом.

Пролетели над тобой века.

Но взгляжусь – и вижу в час заката:

Подплывают к склонам облака,

Будто бы петровские фрегаты.

Шамхал* – титул кумыкских князей.

Темучин* – Тамерлан.

Фазу Алиева (1932-2016)

Советская и российская аварская поэтесса, народная поэтесса Дагестана, прозаик и публицист. Внесла существенный вклад в развитие дагестанской и российской литературы. Помимо этого, занималась правозащитной деятельностью. Награждена двумя орденами «Знак Почёта» и двумя орденами Дружбы Народов, орденом Святого апостола Андрея Первозванного; удостоена золотой медали Советского фонда мира. Поэзия Фазу Алиевой проникнута к Родине, любовью к родной земле, к вечным человеческим ценностям и идеалам.

Издалека, в метель и в бездорожье,

На голос твой я, Родина, иду.

Всего на свете твой покой дороже

Я за него под пулей упаду.

Отчизна моя

На громаду хребта

И звонкую речку с тобой мы похожи:

Во мне отразилась твоя высота,

Отвага и правда,

Любовь и мечта,

И буду всю жизнь – весела и чиста –

Звучать, омывая твое подножье!

Отчизна!

Наша гордость и отрада!

Я – птица твоего большого сада,

И голосу доверься моему.

Тебе служить – вот высшая награда,

И если от меня хоть что-то надо,

По первому же знаку

Я пойму!

Ведь все, что с детства ты дарила мне,

В крутой дороге я не растеряла,

А собирала с самого начала

И берегла в душе,

На самом дне,

И в песенный мой голос превращала,

Его очистив, как металл в огне.

Снова вижу я родные горы

Снова вижу я родные горы

И в низинах мелкие селенья,

И луга, пышнее нет которых,

Мне знакомы с самого рожденья.

Утром здесь коров я провожала,

Вечером встречать их выходила,

Здесь белье на речке полоскала,

А потом на солнышке сушила.

Снова вижу я пещеру Мархи -

Волчья пасть схватить добычу хочет,

Здесь столетья под тяжелой аркой

Голубые воды камни точат.

Родина фонтанов родниковых...
Я сюда с кувшином прибежала,
Я б его, помятого, кривого,
На другой вовек не променяла.

От воды твоей сводило зубы,
Дай, как прежде, испытать мне жажду, -
К ста кувшинам припадали губы,
Но такой воды не встретишь дважды.

Разбрелись ягнята по лужайке...
Где же ты, ягненок мой веселый?
Почему ты не бежишь к хозяйке
И на мой не отвечаешь голос?

Или вырос, или постарел ты?
Или кто-то в сырости кладовки
Тушку возле бочек и тарелок
К потолку подвесил на веревке?
И родимых мест не узнавая,
Я смущенно тру глаза рукою.
Глиняные домики сметая,
Новый клуб поднялся над рекою.

Отчий дом, откуда светлым утром
Я ушла когда-то в мир открытый,
Возле зданий новых он – как будто
На лице красивом глаз подбитый.

Нет вкуснее маминого хлеба
И воды, что здесь я зачерпнула.
О село мое – родное небо,
Дочь твоя опять к тебе вернулась!

Благодарю судьбу

Я где-то слышала: в разгаре летних дней

Обиженный цветок увянет всех быстрее, –
Цветок, что обойден счастливою судьбою,
Так и не тронутый шмелем или пчелою.
Пусть лепестки порой ломает жадный шмель,
Когда торопится добыть цветочный хмель,
Не обижаются ромашка и фиалка –
Для встречи со шмелем им лепестков не жалко,
Им долго вспоминать, им снова ожидать
Мгновенья жгучего и боль, и благодать
И капли слез ронять, грустя по-человечьи
О той сверкающей, неповторимой встрече.

Тургенев Иван Сергеевич
(1818 – 1883)

Русский писатель-реалист, поэт, публицист, драматург, переводчик. Один из классиков русской литературы, внёсших наиболее значительный вклад в её развитие во второй половине 19 в. Созданная им художественная система оказала влияние на поэтику не только русского, но и западноевропейского романа второй половины XIX века. Иван Тургенев первым в русской литературе начал изучать личность «нового человека» – шестидесятника, его нравственные качества и психологические особенности, благодаря ему в русском языке стал широко использоваться термин "нигилист". Певец русской природы, тонко и лирично передававший все ее особенности и оттенки. Оставил большое литературное наследие, произведения, которым суждена вечная жизнь.

БЕЖИН ЛУГ

Был прекрасный июльский день, один из тех дней, которые случаются только тогда, когда погода установилась надолго. С самого раннего утра небо ясно; утренняя заря не пылает пожаром: она разливается кротким румянцем.

Солнце – не огнистое, не раскаленное, как во время знойной засухи, не тускло-багровое, как перед бурей, но светлое и приветно лучезарное – мирно всплывает под узкой и длинной тучкой, свежо просияет и погрузится в лиловый ее туман. Верхний, тонкий край растянутого облачка засверкает змейками; блеск их подобен блеску кованого серебра... Но вот опять хлынули играющие лучи, – и весело и величава, словно взлетая, поднимается могучее светило. Около полудня обыкновенно появляется множество круглых высоких облаков, золотисто-серых, с нежными белыми краями. Подобно островам, разбросанным по бесконечно разлившейся реке, обтекающей их глубоко прозрачными рукавами ровной синевы, они почти не трогаются с места; далее, к небосклону, они сдвигаются, теснятся, синевы между ними уже не видать; но сами они так же лазурны, как небо: они все насквозь проникнуты светом и теплотой. Цвет небосклона, легкий, бледно-лиловый, не изменяется во весь день и кругом одинаков; нигде не темнеет, не густеет гроза; разве кое-где протянутся сверху вниз голубоватые полосы: то сеется едва заметный дождь. К вечеру эти облака исчезают; последние из них, черноватые и неопределенные, как дым, ложатся розовыми клубами напротив заходящего солнца; на месте, где оно закатилось так же спокойно, как спокойно вошло на небо, алое сиянье стоит недолгое время над потемневшей землей, и, тихо мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на нем вечерняя звезда. В такие дни краски все смягчены; светлы, но не яркие; на всем лежит печать какой-то трогательной кротости. В такие дни жар бывает иногда весьма силен, иногда даже «парит» по скатам полей; но ветер разгоняет, раздвигает накопившийся зной, и вихри-круговороты – несомненный признак постоянной погоды – высокими белыми столбами гуляют по дорогам через пашню. В сухом и чистом воздухе пахнет полынью, сжатой рожью, гречихой; даже за час до ночи вы не чувствуете сырости. Подобной погоды желает земледelec для уборки хлеба...

В такой точно день охотился я однажды за тетеревами в Чернском уезде, Тульской губернии. Я нашел и настрелял довольно много дичи; наполненный ягдташ немилосердно резал мне плечо; но уже вечерняя заря погасала, и в воздухе, еще светлом, хотя не озаренном более лучами закатившегося солнца, начинали густеть и разливаться холодные тени, когда я решил наконец вернуться к себе домой. Быстрыми шагами прошел я длинную «площадь» кустов, взобрался на холм и, вместо неожиданной знакомой равнины с дубовым леском направо и низенькой белой церковью в отдалении, увидел совершенно другие, мне не известные места. У ног моих тянулась узкая долина; прямо, напротив, крутой стеной возвышался частый осинник. Я остановился в недоумении, оглянулся... «Эге! – подумал я, – да

это я совсем не туда попал: я слишком забрал вправо», – и, сам дивясь своей ошибке, проворно спустился с холма. Меня тотчас охватила неприятная, неподвижная сырость, точно я вошел в погреб; густая высокая трава на дне долины, вся мокрая, белела ровной скатертью; ходить по ней было как-то жутко. Я поскорей выкарабкался на другую сторону и пошел, забирая влево, вдоль осинника. Летучие мыши уже носились над его заснувшими верхушками, таинственно кружась и дрожа на смутно-ясном небе; резво и прямо пролетел в вышине запоздалый ястребок, спеша в свое гнездо. «Вот как только я выйду на тот угол, – думал я про себя, – тут сейчас и будет дорога, а с версту крюку я дал!»

Я добрался наконец до угла леса, но там не было никакой дороги: какие-то некошеные, низкие кусты широко расстилались передо мною, а за ними, далеко-далеко, виднелось пустынное поле. Я опять остановился. «Что за притча?.. Да где же я?» Я стал припоминать, как и куда ходил в течение дня... «Э! да это Парахинские кусты! – воскликнул я наконец, – точно! вон это, должно быть, Синдеевская роща... Да как же это я сюда зашел? Так далеко?.. Странно!» Теперь опять нужно вправо взять».

Я пошел вправо, через кусты. Между тем ночь приближалась и росла, как грозная туча; казалось, вместе с вечерними парами отовсюду поднималась и даже с вышины лилась темнота. Мне попала какая-то неторная, заросшая дорожка; я отправился по ней, внимательно поглядывая вперед. Все кругом быстро чернело и утихало, – одни перепела изредка кричали. Небольшая ночная птица, неслышно и низко мчавшаяся на своих мягких крыльях, почти наткнулась на меня и пугливо нырнула в сторону. Я вышел на опушку кустов и побрел по полю межой. Уже я с трудом различал отдаленные предметы; поле неясно белело вокруг; за ним, с каждым мгновением надвигаясь, громадными клубами вздымался угрюмый мрак. Глухо отдавались мои шаги в застывающем воздухе. Побледневшее небо стало опять синеть – но то уже была синева ночи. Звездочки замелькали, зашевелились на нем.

Что я было принял за рощу, оказалось темным и круглым бугром. «Да где же это я?» – повторил я опять вслух, остановился в третий раз и вопросительно посмотрел на свою английскую желто-пегую собаку Дианку, решительно умнейшую из всех четвероногих тварей. Но умнейшая из четвероногих тварей только повиляла хвостиком, уныло моргнула усталыми глазками и не подала мне никакого дельного совета. Мне стало совестно перед ней, и я отчаянно устремился вперед, словно вдруг догадался, куда следовало идти, обогнул бугор и очутился в неглубокой, кругом распаханной ложине. Странное чувство тотчас овладело мной. Лощина эта имела вид

почти правильного котла с пологими боками; на дне ее торчало стоймя несколько больших, белых камней, – казалось, они сползли туда для тайного совещания, – и до того в ней было немо и глухо, так плоско, так уныло висело над нею небо, что сердце у меня сжалось. Какой-то зверок слабо и жалобно пискнул между камней. Я поспешил выбраться назад на бугор. До сих пор я все еще не терял надежды сыскать дорогу домой; но тут я окончательно удостоверился в том, что заблудился совершенно, и, уже нисколько не стараясь узнавать окрестные места, почти совсем потонувшие во мгле, пошел себе прямо, по звездам – наудалую... Около получаса шел я так, с трудом переставляя ноги. Казалось, отроду не бывал я в таких пустых местах: нигде не мерцал огонек, не слышалось никакого звука. Один пологий холм сменялся другим, поля бесконечно тянулись за полями, кусты словно вставали вдруг из земли перед самым моим носом. Я все шел и уже собирался было прилечь где-нибудь до утра, как вдруг очутился над страшной бездной.

Я быстро отдернул занесенную ногу и, сквозь едва прозрачный сумрак ночи, увидел далеко под собою огромную равнину. Широкая река огибала ее уходящим от меня полукругом; стальные отблески воды, изредка и смутно мерцающая, обозначали ее течение. Холм, на котором я находился, спускался вдруг почти отвесным обрывом; его громадные очертания отделялись, чернея, от синеватой воздушной пустоты, и прямо подо мною, в углу, образованном тем обрывом и равниной, возле реки, которая в этом месте стояла неподвижным, темным зеркалом, под самой кручью холма, красным пламенем горели и дымились друг подле дружки два огонька. Вокруг них копошились люди, колебались тени, иногда ярко освещалась передняя половина маленькой кудрявой головы...

Я узнал наконец, куда я зашел. Этот луг славится в наших околотках под названием Бежина луга... Но вернуться домой не было никакой возможности, особенно в ночную пору; ноги подкашивались подо мной от усталости. Я решился подойти к огонькам и в обществе тех людей, которых принял за гуртовщиков, дожидаться зари. Я благополучно спустился вниз, но не успел выпустить из рук последнюю ухваченную мною ветку, как вдруг две большие, белые, лохматые собаки со злобным лаем бросились на меня. Детские звонкие голоса раздались вокруг огней; два-три мальчика быстро поднялись с земли. Я откликнулся на их вопросительные крики. Они подбежали ко мне, отозвали тотчас собак, которых особенно поразило появление моей Дианки, и я подошел к ним.

Я ошибся, приняв людей, сидевших вокруг тех огней, за гуртовщиков. Это просто были крестьянские ребятишки из соседних деревень, которые

стерегли табун. В жаркую летнюю пору лошадей выгоняют у нас на ночь кормиться в поле: днем мухи и оводы не дали бы им покоя. Выгонять перед вечером и пригонять на утренней заре табун – большой праздник для крестьянских мальчиков. Сидя без шапок и в старых полушубках на самых бойких клячонках, мчатся они с веселым гиканьем и криком, болтая руками и ногами, высоко подпрыгивают, звонко хохочут. Легкая пыль желтым столбом поднимается и несется по дороге; далеко разносится дружный топот, лошади бегут, наострив уши; впереди всех, задравши хвост и беспрестанно меняя ноги, скачет какой-нибудь рыжий космач, с репейником в спутанной гриве.

Я сказал мальчикам, что заблудился, и подсел к ним. Они спросили меня, откуда я, помолчали, посторонились. Мы немного поговорили. Я прилег под обглоданный кустик и стал глядеть кругом. Картина была чудесная: около огней дрожало и как будто замирало, упираясь в темноту, круглое красноватое отражение; пламя, вспыхивая, изредка забрасывало за черту того круга быстрые отблески; тонкий язык света лизнет голые сучья лозника, и разом исчезнет; острые, длинные тени, врываясь на мгновение, в свою очередь, добежали до самых огоньков: мрак боролся со светом. Иногда, когда пламя горело слабее и кружок света суживался, из надвинувшейся тьмы внезапно выставлялась лошадиная голова, гнедая, с извилистой проточиной, или вся белая, внимательно и тупо смотрела на нас, проворно жуя длинную траву, и, снова опускаясь, тотчас скрывалась. Только слышно было, как она продолжала жевать и отфыркивалась. Из освещенного места трудно разглядеть, что делается в потемках, и потому вблизи все казалось задернутым почти черной завесой; но далее к небосклону длинными пятнами смутно виднелись холмы и леса. Темное чистое небо торжественно и необъятно высоко стояло над нами со всем своим таинственным великолепием. Сладко стеснялась грудь, вдыхая тот особенный, томительный и свежий запах – запах русской летней ночи. Кругом не слышалось почти никакого шума... Лишь изредка в близкой реке с внезапной звучностью плеснет большая рыба и прибрежный тростник слабо зашумит, едва поколебленный набежавшей волной... Одни огоньки тихонько потрескивали.

Мальчики сидели вокруг них; тут же сидели и те две собаки, которым так было захотелось меня съесть. Они еще долго не могли примириться с моим присутствием и, сонливо щурясь и косясь на огонь, изредка рычали с необыкновенным чувством собственного достоинства; сперва рычали, а потом слегка визжали, как бы сожалея о невозможности исполнить свое желание. Всех мальчиков был пять: Федя, Павлуша, Илюша, Костя и Ваня.

(Из их разговоров я узнал их имена и намерен теперь же познакомить с ними читателя.)

Первому, старшему из всех, Феде, вы бы дали лет четырнадцать. Это был стройный мальчик, с красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудрявыми белокурыми волосами, светлыми глазами и постоянной полувеселой, полурассеянной улыбкой. Он принадлежал, по всем приметам, к богатой семье и выехал-то в поле не по нужде, а так, для забавы. На нем была пестрая ситцевая рубаха с желтой каемкой; небольшой новый армячок, надетый внакидку, чуть держался на его узеньких плечиках; на голубеньком поясе висел гребешок. Сапоги его с низкими голенищами были точно его сапоги — не отцовские. У второго мальчика, Павлуши, волосы были включенные, черные, глаза серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот большой, но правильный, вся голова огромная, как говорится, с пивной котел, тело приземистое, неуклюжее. Малый был неказистый, — что и говорить! — а все-таки он мне понравился: глядел он очень умно и прямо, да и в голосе у него звучала сила. Одеждой своей он щеголять не мог: вся она состояла из простой замашной рубахи да из заплатанных портов. Лицо третьего, Ильюши, было довольно незначительно: горбоносое, вытянутое, подслеповатое, оно выражало какую-то тупую, болезненную заботливость; сжатые губы его не шевелились, сдвинутые брови не расходились — он словно все щурился от огня. Его желтые, почти белые волосы торчали острыми косицами из-под низенькой войлочной шапочки, которую он обеими руками то и дело надвигал себе на уши. На нем были новые лапти и онучи; толстая веревка, три раза перевитая вокруг стана, тщательно стягивала его опрятную черную свитку. И ему и Павлуше на вид было не более двенадцати лет. Четвертый, Костя, мальчик лет десяти, возбуждал мое любопытство своим задумчивым и печальным взором. Все лицо его было невелико, худо, в веснушках, книзу заострено, как у белки; губы едва было можно различить; но странное впечатление производили его большие, черные, жидким блеском блестящие глаза: они, казалось, хотели что-то высказать, для чего на языке, — на его языке по крайней мере, — не было слов. Он был маленького роста, сложения тщедушного и одет довольно бедно. Последнего, Ваню, я сперва было и не заметил: он лежал на земле, смирнехонько прикорнув под угловатую рогожу, и только изредка выставлял из-под нее свою русую кудрявую голову. Этому мальчику было всего лет семь.

Итак, я лежал под кустиком в стороне и поглядывал на мальчиков. Небольшой котельчик висел над одним из огней; в нем варились «картошки», Павлуша наблюдал за ним и, стоя на коленях, тыкал щепкой в закипавшую

воду. Федя лежал, опершись на локоть и раскинув полы своего армяка. Ильюша сидел рядом с Костей и все так же напряженно шурился. Костя понурил немного голову и глядел куда-то вдаль. Ваня не шевелился под своей рогожей. Я притворился спящим. Понемногу мальчишки опять разговорились.

Сперва они покалякали о том и сем, о завтрашних работах, о лошадях; но вдруг Федя обратился к Ильюше и, как бы возобновляя прерванный разговор, спросил его:

— Ну, и что ж ты, так и видел домового?

— Нет, я его не видал, да его и видеть нельзя, — отвечал Ильюша сиплым и слабым голосом, звук которого как нельзя более соответствовал выражению его лица, — а слышал... Да и не я один.

— А он у вас где водится? — спросил Павлуша.

— В старой рольне.

— А разве вы на фабрику ходите?

— Как же, ходим. Мы с братом, с Авдюшкой, в лисовщиках состоим.

— Вишь ты — фабричные!..

— Ну, так как же ты его слышал? — спросил Федя.

— А вот как. Пришлось нам с братом Авдюшкой, да с Федором Михеевским, да с Ивашкой Косым, да с другим Ивашкой, что с Красных Холмов, да еще с Ивашкой Сухоруковым, да еще были там другие ребята; всех было нас ребяток человек десять — как есть вся смена; но а пришлось нам в рольне заночевать, то есть не то чтобы этак пришлось, а Назаров, надсмотрщик, запретил; говорит: «Что, мол, вам, ребятам, домой таскаться; завтра работы много, так вы, ребята, домой не ходите». Вот мы остались и лежим все вместе, и зачал Авдюшка говорить, что, мол, ребята, ну, как домовой придет?.. И не успел он, Авдей-то, проговорить, как вдруг кто-то над головами у нас и заходил; но а лежали-то мы внизу, а заходил он наверху, у колеса. Слышим мы: ходит, доски под ним так и гнутся, так и трещат; вот прошел он через наши головы; вода вдруг по колесу как зашумит, зашумит; застучит, застучит колесо, завертится; но а заставки у дворца-то спущены. Дивимся мы: кто ж это их поднял, что вода пошла; однако колесо повертелось, повертелось, да и стало. Пошел тот опять к двери наверху да по лестнице спускаться стал, и этак слушается, словно не торопится; ступеньки под ним так даже и стонут... Ну, подошел тот к нашей двери, подождал, подождал — дверь вдруг вся так и распахнулась. Всполохнулись мы, смотрим — ничего... Вдруг, глядь, у одного чана форма зашевелилась, поднялась, окунулась, походила, походила этак по воздуху, словно кто ею полоскал, да и опять на место. Потом у другого чана крюк снялся с гвоздя да опять на

гвоздь; потом будто кто-то к двери пошел да вдруг как закашляет, как заперхает, словно овца какая, да зычно так... Мы все так ворохом и свалились, друг под дружку полезли... Уж как же мы напужались о ту пору!

— Вишь как! – промолвил Павел. – Чего ж он раскашлялся?

— Не знаю; может, от сырости.

Все помолчали.

— А что, — спросил Федя, — картошки сварились?

Павлуша пощупал их.

— Нет, еще сыры... Вишь, плеснула, — прибавил он, повернув лицо в направлении реки, — должно быть, щука... А вон звездочка покатилась.

— Нет, я вам что, братцы, расскажу, — заговорил Костя тонким голоском, — послушайте-ка, намедни-сь, что тятя при мне рассказывал.

— Ну, слушаем, — с покровительствующим видом сказал Федя.

— Вы ведь знаете Гаврилу, слободского плотника?

— Ну да; знаем.

— А знаете ли, отчего он такой все невеселый, все молчит, знаете? Вот отчего он такой невеселый. Пошел он раз, тятенька говорил, — пошел он, братцы мои, в лес по орехи. Вот пошел он в лес по орехи, да и заблудился; зашел — Бог знает куды зашел. Уж он ходил, ходил, братцы мои, — нет! не может найти дороги; а уж ночь на дворе. Вот и присел он под дерево; давай, мол, дождусь утра, — присел и задремал. Вот задремал и слышит вдруг, кто-то его зовет. Смотрит — никого. Он опять задремал — опять зовут. Он опять глядит, глядит: а перед ним на ветке русалка сидит, качается и его к себе зовет, а сама помирает со смеху, смеется... А месяц-то светит сильно, так сильно, явственно светит месяц — все, братцы мои, видно. Вот зовет она его, и такая вся сама светленькая, беленькая сидит на ветке, словно плотичка какая или пескарь, — а то вот еще карась бывает такой белесоватый, серебряный... Гаврила-то плотник так и обмер, братцы мои, а она знай хохочет да его все к себе этак рукой зовет. Уж Гаврила было и встал, послушался было русалки, братцы мои, да, зная, Господь его надоумил: положил-таки на себя крест... А уж как ему было трудно крест-то класть, братцы мои; говорит, рука просто как каменная, не ворочается... Ах ты этакой, а!.. Вот как положил он крест, братцы мои, русалочка-то и смеяться перестала, да вдруг как заплачет... Плачет она, братцы мои, глаза волосами утирает, а волоса у нее зеленые, что твоя конопля. Вот поглядел, поглядел на нее Гаврила, да и стал ее спрашивать: «Чего ты, лесное зелье, плачешь?» А русалка-то как взговорит ему: «Не креститься бы тебе, говорит, человеке, жить бы тебе со мной на веселии до конца дней; а плачу я, убиваюсь оттого, что ты крестился; да не я одна убиваться буду: убивайся же и ты до конца

дней». Тут она, братцы мои, пропала, а Гавриле тотчас и понятливо стало, как ему из лесу, то есть, выйти... А только с тех пор он все невеселый ходит. — Эка! — проговорил Федя после недолгого молчания, — да как же это может этакая лесная нечисть христианскую душу спортить, — он же ее не послушался?

— Да вот поди ты! — сказал Костя. — И Гаврила баил, что голосок, мол, у ней такой тоненький, жалобный, как у жабы.

— Твой батька сам это рассказывал? — продолжал Федя.

— Сам. Я лежал на полатах, все слышал.

— Чудное дело! Чего ему быть невеселым?.. А, знать, он ей понравился, что позвала его.

— Да, понравился! — подхватил Ильюша. — Как же! Защекотать она его хотела, вот что она хотела. Это ихнее дело, этих русалок-то.

— А ведь вот и здесь должны быть русалки, — заметил Федя.

— Нет, — отвечал Костя, — здесь место чистое, вольное. Одно — река близко.

Все смолкли. Вдруг, где-то в отдалении, раздался протяжный, звенящий, почти стелющийся звук, один из тех непонятных ночных звуков, которые возникают иногда среди глубокой тишины, поднимаются, стоят в воздухе и медленно разносятся наконец, как бы замирая. Прислушаешься — и как будто нет ничего, а звенит. Казалось, кто-то долго, долго прокричал под самым небосклоном, кто-то другой как будто отозвался ему в лесу тонким, острым хохотом, и слабый, шипящий свист промчался по реке. Мальчики переглянулись, вздрогнули...

— С нами крестная сила! — шепнул Илья.

— Эх вы, вороны! — крикнул Павел. — Чего всполохнулись? Посмотрите-ка, картошки сварились. (Все пододвинулись к котельчику и начали есть дымящийся картофель; один Ваня не шевельнулся.) Что же ты? — сказал Павел.

Но он не вылез из-под своей рогожи. Котельчик скоро весь опорожнился.

— А слышали вы, ребятки, — начал Ильюша, — что намерднись у нас на Варнавицах приключилось?

— На плотине-то? — спросил Федя.

— Да, да, на плотине, на прорванной. Вот уж нечистое место, так нечистое, и глухое такое. Кругом все такие буераки, овраги, а в оврагах все казюли водятся.

— Ну, что такое случилось? рассказывай...

— А вот что случилось. Ты, может быть, Федя, не знаешь, а только там у нас утопленник похоронен; а утопился он давным-давно, как пруд еще был

глубок; только могилка его еще видна, да и та чуть видна: так — бугорочек... Вот, на днях, зовет приказчик псаря Ермила; говорит: «Ступай, мол, Ермил, на пошту». Ермил у нас всегда на почту ездит; собак-то он всех своих поморил: не живут они у него отчего-то, так-таки никогда и не жили, а псарь он хороший, всем взял. Вот поехал Ермил за поштой, да и замешкался в городе, но а едет назад уж он хмелен. А ночь, и светлая ночь: месяц светит... Вот и едет Ермил через плотину: такая уж его дорога вышла. Едет он этак, псарь Ермил, и видит: у утопленника на могиле барашек, белый такой, кудрявый, хорошенький, похаживает. Вот и думает Ермил: «Сем возьму его, — что ему так пропадать», да и слез, и взял его на руки... Но а барашек — ничего. Вот идет Ермил к лошади, а лошадь от него тарашится, храпит, головой трясет; однако он ее отпрукал, сел на нее с барашком и поехал опять: барашка перед собой держит. Смотрит он на него, и барашек ему прямо в глаза так и глядит. Жутко ему стало, Ермилу-то псарю: что мол, не помню я, чтобы этак бараны кому в глаза смотрели; однако ничего; стал он его этак по шерсти гладить, — говорит: «Бяша, бяша!» А баран-то вдруг как оскалит зубы, да ему тоже: «Бяша, бяша...»

Не успел рассказчик произнести это последнее слово, как вдруг обе собаки разом поднялись, с судорожным лаем ринулись прочь от огня и исчезли во мраке. Все мальчики перепугались. Ваня выскочил из-под своей рогожи. Павлуша с криком бросился вслед за собаками. Лай их быстро удалялся... Послышалась беспокойная беготня встревоженного табуна. Павлуша громко кричал: «Серый! Жучка!..» Через несколько мгновений лай замолк; голос Павла принесся уже издалека... Прошло еще немного времени; мальчики с недоумением переглядывались, как бы выжидая, что-то будет... Внезапно раздался топот скачущей лошади; круто остановилась она у самого костра, и, уцепившись за гриву, проворно спрыгнул с нее Павлуша. Обе собаки также вскочили в кружок света и тотчас сели, высунув красные языки. — Что там? что такое? — спросили мальчики.

— Ничего, — отвечал Павел, махнув рукой на лошадь, — так, что-то собаки зачужали. Я думал, волк, — прибавил он равнодушным голосом, проворно дыша всей грудью.

Я невольно полюбовался Павлушей. Он был очень хорош в это мгновение. Его некрасивое лицо, оживленное быстрой ездой, горело смелой удалью и твердой решимостью. Без хворостинки в руке, ночью, он, нимало не колеблясь, поскакал один на волка... «Что за славный мальчик!» — думал я, глядя на него.

— А видали их, что ли, волков-то? — спросил трусишка Костя.

— Их всегда здесь много, — отвечал Павел, — да они беспокойны только зимой.

Он опять прикорнул перед огнем. Садясь на землю, уродил он руку на мохнатый затылок одной из собак, и долго не поворачивало головы обрадованное животное, с признательной гордостью посматривая сбоку на Павлушу.

Ваня опять забился под рогожку.

— А какие ты нам, Илюшка, страхи рассказывал, — заговорил Федя, которому, как сыну богатого крестьянина, приходилось быть запевалой (сам же он говорил мало, как бы боясь уронить свое достоинство). — Да и собак тут нелегкая дернула залаять... А точно, я слышал, это место у вас нечистое.

— Варнавицы?.. Еще бы! еще какое нечистое! Там не раз, говорят, старого барина видали — покойного барина. Ходит, говорят, в кафтане долгополом и все это этак охает, чего-то на земле ищет. Его раз дедушка Трофимыч повстречал: «Что, мол, батюшка, Иван Иванович, изволишь искать на земле?»

— Он его спросил? — перебил изумленный Федя.

— Да, спросил.

— Ну, молодец же после этого Трофимыч... Ну, и что ж тот?

— Разрыв-травы, говорит, ищу.— Да так глухо говорит, глухо: — Разрыв-травы. — А на что тебе, батюшка Иван Иванович, разрыв-травы? — Давит, говорит, могила давит, Трофимыч: вон хочется, вон...

— Вишь какой! — заметил Федя, — мало, знать, пожил.

— Экое диво! — промолвил Костя. — Я думал, покойников можно только в родительскую субботу видеть.

— Покойников во всяк час видеть можно, — с уверенностью подхватил Ильюша, который, сколько я мог заметить, лучше других знал все сельские поверья... — Но а в родительскую субботу ты можешь и живого увидеть, за кем, то есть, в том году очередь помирать. Стоит только ночью сесть на паперть на церковную да все на дорогу глядеть. Те и пойдут мимо тебя по дороге, кому, то есть, умирать в том году. Вот у нас в прошлом году баба Ульяна на паперть ходила.

— Ну, и видела она кого-нибудь? — с любопытством спросил Костя.

— Как же. Перво-наперво она сидела долго, долго, никого не видала и не слыхала... только все как будто собачка этак залает, залает где-то... Вдруг, смотрит: идет по дорожке мальчик в одной рубашонке. Она приглянулась — Ивашка Федосеев идет...

— Тот, что умер весной? — перебил Федя.

— Тот самый. Идет и головушки не подымает... А узнала его Ульяна... Но а потом смотрит: баба идет. Она вглядываться, вглядываться, — ах ты, Господи! — сама идет по дороге, сама Ульяна.

— Неужто сама? — спросил Федя.

— Ей-Богу, сама.

— Ну что ж, ведь она еще не умерла?

— Да году-то еще не прошло. А ты посмотри на нее: в чем душа держится. Все опять притихли. Павел бросил горсть сухих сучьев на огонь. Резко зачернелись они на внезапно вспыхнувшем пламени, затрещали, задымились и пошли коробиться, приподнимая обожженные концы. Отражение света ударило, порывисто дрожа, во все стороны, особенно кверху. Вдруг откуда ни возьмись белый голубок, — налетел прямо в это отражение, пугливо повертелся на одном месте, весь обливаясь горячим блеском, и исчез, звеня крылами.

— Знать, от дому отбился, — заметил Павел. — Теперь будет лететь, куда на что наткнется, и где ткнет, там и ночует до зари.

— А что, Павлуша, — промолвил Костя, — не праведная ли эта душа летела на небо, ась?

Павел бросил другую горсть сучьев на огонь.

— Может быть, — проговорил он наконец.

— А скажи, пожалуй, Павлуша, — начал Федя, — что, у вас тоже в Шаламове было видать предвиденье-то небесное?

— Как солнца-то не стало видно? Как же.

— Чай, напугались и вы?

— Да не мы одни. Барин-то наш, хоша и толковал нам напередки, что, дескать, будет вам предвиденье, а как затемнело, сам, говорят, так перетрусился, что на-поди. А на дворовой избе баба-стряпуха, так та, как только затемнело, слышь, взяла да ухватом все горшки перебила в печи: «Кому теперь есть, говорит, наступило светопрестановление». Так шти и потекли. А у нас на деревне такие, брат, слухи ходили, что, мол, белые волки по земле побегут, людей есть будут, хищная птица полетит, а то и самого Тришку увидят.

— Какого это Тришку? — спросил Костя.

— А ты не знаешь? — с жаром подхватил Ильюша. — Ну, брат, откентелева же ты, что Тришки не знаешь? Сидни же у вас в деревне сидят, вот уж точно сидни! Тришка — это будет такой человек удивительный, который придет; а придет он, когда наступят последние времена. И будет он такой удивительный человек, что его и взять нельзя будет, и ничего ему сделать нельзя будет: такой уж будет удивительный человек. Захотят его, например,

взять хрестьяне; выйдут на него с дубьем, оцепят его, но а он им глаза отведет — так отведет им глаза, что они же сами друг друга побьют. В острог его посадят, например, — он попросит водицы испить в ковшике: ему принесут ковшик, а он нырнет туда, да и поминай как звали. Цепи на него наденут, а он в ладошки затрепещется — они с него так и попадают. Ну, и будет ходить этот Тришка по селам да по городам; и будет этот Тришка, лукавый человек, соблазнять народ хрестиянский... ну, а сделать ему нельзя будет ничего... Уж такой он будет удивительный, лукавый человек.

— Ну да, — продолжал Павел своим неторопливым голосом, — такой. Вот его-то и ждали у нас. Говорили старики, что вот, мол, как только предвиденье небесное зачнется, так Тришка и придет. Вот и зачалось предвиденье. Высыпал весь народ на улицу, в поле, ждет, что будет. А у нас, вы знаете, место видное, привольное. Смотрят — вдруг от слободки с горы идет какой-то человек, такой мудреный, голова такая удивительная... Все как крикнут: «Ой, Тришка идет! ой, Тришка идет!» — да кто куды! Староста наш в канаву залез; старостиха в подворотне застряла, благим матом кричит, свою же дверную собаку так запужала, что та с цепи долой, да через плетень, да в лес; а Кузькин отец, Дорофеич, вскочил в овес, присел, да и давай кричать перепелом: «Авось, мол, хоть птицу-то враг, душегубец, пожалеет». Такого-то все переполошились!.. А человек-то это шел наш бочар, Вавила: жбан себе новый купил да на голову пустой жбан и надел.

Все мальчишки засмеялись и опять приумолкли на мгновенье, как это часто случается с людьми, разговаривающими на открытом воздухе. Я поглядел кругом: торжественно и царственно стояла ночь; сырую свежесть позднего вечера сменила полуночная сухая теплынь, и еще долго было ей лежать мягким пологом на заснувших полях; еще много времени оставалось до первого лепета, до первых шорохов и шелестов утра, до первых росинок зари. Луны не было на небе: она в ту пору поздно всходила. Бесчисленные золотые звезды, казалось, тихо текли все, наперерыв мерцая, по направлению Млечного Пути, и, право, глядя на них, вы как будто смутно чувствовали сами стремительный, безостановочный бег земли...

Странный, резкий, болезненный крик раздался вдруг два раза сряду над рекой и, спустя несколько мгновений, повторился уже далее...

Костя вздрогнул. «Что это?»

— Это цапля кричит, — спокойно возразил Павел.

— Цапля, — повторил Костя... — А что такое, Павлуша, я вчера слышал вечером, — прибавил он, помолчав немного, — ты, может быть, знаешь...

— Что ты слышал?

— А вот что я слышал. Шел я из Каменной Гряды в Шашкино; а шел сперва все нашим орешником, а потом лужком пошел — знаешь, там, где он сугибелью выходит, — там ведь есть бучило, знаешь, оно еще все камышом заросло; вот пошел я мимо этого бучила, братцы мои, и вдруг из того-то бучила как застонет кто-то, да так жалостливо, жалостливо: у-у... у-у... у-у! Страх такой меня взял, братцы мои: время-то позднее, да и голос такой болезненный. Так вот, кажется, сам бы и заплакал... Что бы это такое было? ась?

— В этом бучиле в запрошлом лете Акима-лесника утопили воры, — заметил Павлуша, — так, может быть, его душа жалобится.

— А ведь и то, братцы мои, — возразил Костя, расширив свои и без того огромные глаза... — Я и не знал, что Акима в том бучиле утопили: я бы еще не так напужался.

— А то, говорят, есть такие лягушки махонькие, — продолжал Павел, — которые так жалобно кричат.

— Лягушки? Ну, нет, это не лягушки... какие это... (Цапля опять прокричала над рекой.) Эх ее! — невольно произнес Костя, — словно леший кричит.

— Леший не кричит, он немой, — подхватил Ильюша, — он только в ладоши хлопает да трещит...

— А ты его видал, лешего-то, что ли? — насмешливо перебил его Федя.

— Нет, не видал, и сохрани Бог его видеть; но а другие видели. Вот на днях он у нас мужичка обошел: водил, водил его по лесу, и все вокруг одной поляны... Едва-те к свету домой добился.

— Ну, и видел он его?

— Видел. Говорит, такой стоит большой, большой, темный, окутанный, этак словно за деревом, хорошенько не разберешь, словно от месяца прячется, и глядит, глядит глазищами-то, моргает ими, моргает...

— Эх ты! — воскликнул Федя, слегка вздрогнув и передернув плечами, — пфу!..

— И зачем эта погань в свете развелась? — заметил Павел. — Не понимаю, право!

— Не бранись, смотри, услышит, — заметил Илья.

Настало опять молчание.

— Гляньте-ка, гляньте-ка, ребятки, — раздался вдруг детский голос Вани, — гляньте на Божьи звездочки, — что пчелки роятся!

Он выставил свое свежее личико из-под рогожи, оперся на кулачок и медленно поднял кверху свои большие тихие глаза. Глаза всех мальчиков поднялись к небу и не скоро опустились.

— А что, Ваня, — ласково заговорил Федя, — что, твоя сестра Анютка здорова?

- Здорова, — отвечал Ваня, слегка картавя.
— Ты ей скажи — что она к нам, отчего не ходит?..
— Не знаю.
— Ты ей скажи, чтобы она ходила.
— Скажу.
— Ты ей скажи, что я ей гостинца дам.
— А мне дашь?
— И тебе дам.

Ваня вздохнул.

- Ну, нет, мне не надо. Дай уж лучше ей: она такая у нас добренькая.
И Ваня опять положил свою голову на землю. Павел встал и взял в руку пустой котельчик.

- Куда ты? — спросил его Федя.
— К реке, водицы зачерпнуть: водицы захотелось испить.

Собаки поднялись и пошли за ним.

- Смотри не упади в реку! — крикнул ему вслед Ильюша.
— Отчего ему упасть? — сказал Федя, — он остережется.

— Да, остережется. Всяко бывает: он вот нагнется, станет черпать воду, а водяной его за руку схватит да потащит к себе. Станут потом говорить: упал, дескать, малый в воду... А какое упал?.. Во-вон, в камыши полез, — прибавил он, прислушиваясь.

Камыши точно, раздвигаясь, «шуршали», как говорится у нас.

- А правда ли, — спросил Костя, — что Акулина-дурочка с тех пор и рехнулась, как в воде побывала?

— С тех пор... Какова теперь! Но а говорят, прежде красавица была. Водяной ее испортил. Знать, не ожидал, что ее скоро вытащут. Вот он ее, там у себя на дне, и испортил.

(Я сам не раз встречал эту Акулину. Покрытая лохмотьями, страшно худая, с черным, как уголь, лицом, помутившимся взором и вечно оскаленными зубами, топчется она по целым часам на одном месте, где-нибудь на дороге, крепко прижав костлявые руки к груди и медленно переваливаясь с ноги на ногу, словно дикий зверь в клетке. Она ничего не понимает, что бы ей ни говорили, и только изредка судорожно хохочет.)

- А говорят, — продолжал Костя, — Акулина оттого в реку и кинулась, что ее любовник обманул.

— От того самого.

- А помнишь Васю? — печально прибавил Костя.

— Какого Васю? — спросил Федя.

— А вот того, что утонул, — отвечал Костя, — в этой вот в самой реке. Уж какой же мальчик был! и-их, какой мальчик был! Мать-то его, Феклиста, уж как же она его любила, Васю-то! И словно чуяла она, Феклиста-то, что ему от воды гибель произойдет. Бывало, пойдет-от Вася с нами, с ребятами, летом в речку купаться, — она так вся и встрепещется. Другие бабы ничего, идут себе мимо с корытами, переваливаются, а Феклиста поставит корыто наземь и станет его кликать: «Вернись, мол, вернись, мой светик! ох, вернись, соколик!» И как утонул. Господь знает. Играл на бережку, и мать тут же была, сено сгребала; вдруг слышит, словно кто пузыри по воде пускает, — глядь, а только уж одна Васина шапонька по воде плывет. Ведь вот с тех пор и Феклиста не в своем уме: придет да и ляжет на том месте, где он утонул; ляжет, братцы мои, да и затянет песенку, — помните, Вася-то все такую песенку певал, — вот ее-то она и затянет, а сама плачет, плачет, горько Богу жалится...

— А вот Павлуша идет, — молвил Федя.

Павел подошел к огню с полным котельчиком в руке.

— Что, ребята, — начал он, помолчав, — неладно дело.

— А что? — торопливо спросил Костя.

— Я Васин голос слышал.

Все так и вздрогнули.

— Что ты, что ты? — пролепетал Костя.

— Ей-Богу. Только стал я к воде нагибаться, слышу вдруг зовут меня этак Васиным голоском и словно из-под воды: «Павлуша, а Павлуша!» Я слушаю; а тот опять зовет: «Павлуша, подь сюда». Я отошел. Однако воды зачерпнул.

— Ах ты, Господи! ах ты, Господи! — проговорили мальчики, крестясь.

— Ведь это тебя водяной звал, Павел, — прибавил Федя... — А мы только что о нем, о Васе-то, говорили.

— Ах, это примета дурная, — с расстановкой проговорил Ильюша.

— Ну, ничего, пушай! — произнес Павел решительно и сел опять, — своей судьбы не минуешь.

Мальчики приутихли. Видно было, что слова Павла произвели на них глубокое впечатление. Они стали укладываться перед огнем, как бы собираясь спать.

— Что это? — спросил вдруг Костя, приподняв голову.

Павел прислушался.

— Это кулички летят, посвистывают.

— Куда ж они летят?

— А туда, где, говорят, зимы не бывает.

— А разве есть такая земля?

— Есть.

— Далеко?

— Далеко, далеко, за теплыми морями.

Костя вздохнул и закрыл глаза.

Уже более трех часов протекло с тех пор, как я присоединился к мальчикам. Месяц взошел наконец; я его склонился к темному краю земли многие звезды не тотчас заметил: так он был мал и узок. Эта безлунная ночь, казалось, была все так же великолепна, как и прежде... Но уже, еще недавно высоко стоявшие на небе; все совершенно затихло кругом, как обыкновенно затихает все только к утру: все спало крепким, неподвижным, передрагассветным сном. В воздухе уже не так сильно пахло, — в нем снова как будто разливалась сырость... Недолги летние ночи!.. Разговор мальчиков угасал вместе с огнями... Собаки даже дремали; лошади, сколько я мог различить, при чуть брезжущем, слабо льющемся свете звезд, тоже лежали, понутив головы... Сладкое забытие напало на меня; оно перешло в дремоту. Свежая струя пробежала по моему лицу. Я открыл глаза: утро начиналось. Еще нигде не румянилась заря, но уже забелелось на востоке. Все стало видно, хотя смутно видно, кругом. Бледно-серое небо светлело, холодело, синело; звезды то мигали слабым светом, то исчезали; отсырела земля, запотели листья, кое-где стали раздаваться живые звуки, голоса, и жидкий, ранний ветерок уже пошел бродить и порхать над землею. Тело мое ответило ему легкой, веселой дрожью. Я проворно встал и подошел к мальчикам. Они все спали как убитые вокруг тлеющего костра; один Павел приподнялся до половины и пристально поглядел на меня.

Я кивнул ему головой и пошел восвояси вдоль задымившейся реки. Не успел я отойти двух верст, как уже полились кругом меня по широкому мокрому лугу, и спереди, по зазеленевшимся холмам, от лесу до лесу, и сзади по длинной пыльной дороге, по сверкающим, обгаренным кустам, и по реке, стыдливо синевшей из-под редяющего тумана, — полились сперва алые, потом красные, золотые потоки молодого, горячего света... Все зашевелилось, проснулось, запело, зашумело, заговорило. Всюду лучистыми алмазами зарделись крупные капли росы; мне навстречу, чистые и ясные, словно тоже обмытые утренней прохладой, принесли звуки колокола, и вдруг мимо меня, погоняемый знакомыми мальчиками, промчался отдохнувший табун...

Я, к сожалению, должен прибавить, что в том же году Павла не стало. Он не утонул: он убился, упав с лошади. Жаль, славный был парень!

Паустовский К.Г.
(1892–1968 гг.)

Константин Георгиевич Паустовский – советский писатель, классик русской литературы XX века. Член Союза писателей СССР, но перед советской властью никогда не заискивал. С началом Великой Отечественной войны Паустовский работал военным корреспондентом. В своем творчестве воспевал красоту природы, писал поучительные сказки и рассказы для детей.

Телеграмма

Октябрь был на редкость холодный, ненастный. Тесовые крыши почернели.

Спутанная трава в саду полегла, и все доцветал и никак не мог доцвести и осыпаться один только маленький подсолнечник у забора.

Над лугами тащились из-за реки, цеплялись за облетевшие ветлы рыхлые тучи. Из них назойливо сыпался дождь.

По дорогам уже нельзя было ни пройти, ни проехать, и пастухи перестали гонять в луга стадо.

Пастуший рожок затих до весны. Катерине Петровне стало еще труднее вставать по утрам и видеть все то же: комнаты, где застоялся горький запах нетопленных печей, пыльный «Вестник Европы», пожелтевшие чашки на столе, давно не чищенный самовар и картины на стенах. Может быть, в комнатах было слишком сумрачно, а в глазах Катерины Петровны уже появилась темная вода, или, может быть, картины потускнели от времени, но на них ничего нельзя было разобрать. Катерина Петровна только по памяти знала, что вот эта — портрет ее отца, а вот эта — маленькая, в золотой раме — подарок Крамского, эскиз к его «Неизвестной». Катерина Петровна доживала свой век в старом доме, построенном ее отцом — известным художником.

В старости художник вернулся из Петербурга в свое родное село, жил на покое и занимался садом. Писать он уже не мог: дрожала рука, да и зрение ослабло, часто болели глаза.

Дом был, как говорила Катерина Петровна, «мемориальный». Он находился под охраной областного музея. Но что будет с этим домом, когда умрет она, последняя его обительница, Катерина Петровна не знала. А в селе — называлось оно Заборье — никого не было, с кем бы можно было поговорить о картинах, о петербургской жизни, о том лете, когда Катерина Петровна жила с отцом в Париже и видела похороны Виктора Гюго.

Не расскажешь же об этом Манюшке, дочери соседа, колхозного сапожника, — девчонке, прибегавшей каждый день, чтобы принести воды из колодца, подмести полы, поставить самовар.

Катерина Петровна дарила Манюшке за услуги сморщенные перчатки, страусовые перья, стеклярусную черную шляпу.

— На что это мне? — хрипло спрашивала Манюшка и шмыгала носом. — Тряпичница я, что ли?

— А ты продай, милая, — шептала Катерина Петровна. Вот уже год, как она ослабела и не могла говорить громко. — Ты продай.

— Сдам в утиль, — решала Манюшка, забирала все и уходила.

Изредка заходил сторож при пожарном сарае — Тихон, тощий, рыжий. Он еще помнил, как отец Катерины Петровны приезжал из Петербурга, строил дом, заводил усадьбу.

Тихон был тогда мальчишкой, но почтение к старому художнику сберег на всю жизнь. Глядя на его картины, он громко вздыхал:

— Работа натуральная!

Тихон хлопотал часто без толку, от жалости, но все же помогал по хозяйству: рубил в саду засохшие деревья, пилил их, колол на дрова. И каждый раз, уходя, останавливался в дверях и спрашивал:

— Не слышно, Катерина Петровна, Настя пишет чего или нет?

Катерина Петровна молчала, сидя на диване — сгорбленная, маленькая, — и всё перебирала какие-то бумажки в рыжем кожаном ридикюле. Тихон долго сморкался, топтался у порога.

— Ну что ж, — говорил он, не дождавшись ответа. — Я, пожалуй, пойду, Катерина Петровна.

— Иди, Тиша, — шептала Катерина Петровна. — Иди, бог с тобой!

Он выходил, осторожно прикрыв дверь, а Катерина Петровна начинала тихонько плакать. Ветер свистел за окнами в голых ветвях, сбивал последние листья. Керосиновый ночник вздрагивал на столе. Он был, казалось, единственным живым существом в покинутом доме, — без этого слабого огня Катерина Петровна и не знала бы, как дожить до утра.

Ночи были уже долгие, тяжелые, как бессонница. Рассвет все больше медлил, все запаздывал и нехотя сочился в немые окна, где между рам еще с прошлого года лежали поверх ваты когда-то желтые осенние, а теперь истлевшие и черные листья.

Настя, дочь Катерины Петровны и единственный родной человек, жила далеко, в Ленинграде. Последний раз она приезжала три года назад.

Катерина Петровна знала, что Насте теперь не до нее, старухи. У них, у молодых, свои дела, свои непонятные интересы, свое счастье. Лучше не мешать. Поэтому Катерина Петровна очень редко писала Насте, но думала о ней все дни, сидя на краешке продавленного дивана так тихо, что мышь,

обманутая тишиной, выбегала из-за печки, становилась на задние лапки и долго, поводя носом, нюхала застоявшийся воздух.

Писем от Насти тоже не было, но раз в два-три месяца веселый молодой почтарь Василий приносил Катерине Петровне перевод на двести рублей. Он осторожно придерживал Катерину Петровну за руку, когда она расписывалась, чтобы не расписалась там, где не надо.

Василий уходил, а Катерина Петровна сидела, растерянная, с деньгами в руках. Потом она надевала очки и перечитывала несколько слов на почтовом переводе. Слова были все одни и те же: столько дел, что нет времени не то что приехать, а даже написать настоящее письмо.

Катерина Петровна осторожно перебирала пухлые бумажки. От старости она забывала, что деньги эти вовсе не те, какие были в руках у Насти, и ей казалось, что от денег пахнет Настиными духами.

Как-то, в конце октября, ночью, кто-то долго стучал в заколоченную уже несколько лет калитку в глубине сада.

Катерина Петровна забеспокоилась, долго обвязывала голову теплым платком, надела старый салоп, впервые за этот год вышла из дому. Шла она медленно, ощупью. От холодного воздуха разболелась голова. Позабытые звезды пронзительно смотрели на землю. Палые листья мешали идти.

Около калитки Катерина Петровна тихо спросила:

— Кто стучит?

Но за забором никто не ответил.

— Должно быть, почудилось, — сказала Катерина Петровна и побрела назад.

Она задохнулась, остановилась у старого дерева, взялась рукой за холодную, мокрую ветку и узнала: это был клен. Его она посадила давно, еще девушкой-хохотушкой, а сейчас он стоял облетевший, озябший, ему некуда было уйти от этой бесприютной, ветреной ночи.

Катерина Петровна пожалела клен, потрогала шершавый ствол, побрела в дом и в ту же ночь написала Насте письмо.

«Ненаглядная моя, — писала Катерина Петровна. — Зиму эту я не переживу. Приезжай хоть на день. Дай поглядеть на тебя, подержать твои руки. Стара я стала и слаба до того, что тяжело мне не то что ходить, а даже сидеть и лежать, — смерть забыла ко мне дорогу. Сад сохнет — совсем уж не тот, — да я его и не вижу. Нынче осень плохая. Так тяжело; вся жизнь, кажется, не была такая длинная, как одна эта осень».

Манюшка, шмыгая носом, отнесла это письмо на почту, долго засовывала его в почтовый ящик и заглядывала внутрь, — что там? Но внутри ничего не было видно — одна жестяная пустота.

Настя работала секретарем в Союзе художников. Работы было много. Устройство выставок, конкурсов — все это проходило через ее руки.

Письмо от Катерины Петровны Настя получила на службе. Она спрятала его в сумочку, не читая, — решила прочесть после работы. Письма Катерины Петровны вызывали у Насти вздох облегчения: раз мать пишет — значит, жива. Но вместе с тем от них начиналось глухое беспокойство, будто каждое письмо было безмолвным укором.

После работы Насте надо было пойти в мастерскую молодого скульптора Тимофеева, посмотреть, как он живет, чтобы доложить об этом правлению Союза. Тимофеев жаловался на холод в мастерской и вообще на то, что его затирают и не дают развернуться.

На одной из площадок Настя достала зеркальце, напудрилась и усмехнулась, — сейчас она нравилась самой себе. Художники звали ее Сольвейг за русые волосы и большие холодные глаза.

Открыл сам Тимофеев — маленький, решительный, злой. Он был в пальто. Шею он замотал огромным шарфом, а на его ногах Настя заметила дамские фетровые боты.

— Не раздевайтесь, — буркнул Тимофеев. — А то замерзнете. Прошу!

Он провел Настю по темному коридору, поднялся вверх на несколько ступеней и открыл узкую дверь в мастерскую.

Из мастерской пахло чадом. На полу около бочки с мокрой глиной горела керосинка. На станках стояли скульптуры, закрытые сырыми тряпками. За широким окном косо летел снег, заносил туманом Неву, таял в ее темной воде. Ветер посвистывал в рамках и шевелил на полу старые газеты.

— Боже мой, какой холод! — сказала Настя, и ей показалось, что в мастерской еще холоднее от белых мраморных барельефов, в беспорядке развешанных по стенам.

— Вот, полюбуйте! — сказал Тимофеев, пододвигая Насте испачканное глиной кресло. — Непонятно, как я еще не издох в этой берлоге. А у Першина в мастерской от калориферов дует теплом, как из Сахары.

— Вы не любите Першина? — осторожно спросила Настя.

— Выскочка! — сердито сказал Тимофеев. — Ремесленник! У его фигур не плечи, а вешалки для пальто. Его колхозница — каменная баба в подоткнутом фартуке. Его рабочий похож на неандертальского человека. Лепит деревянной лопатой. А хитер, милая моя, хитер, как кардинал!

— Покажите мне вашего Гоголя, — попросила Настя, чтобы переменить разговор.

— Перейдите! — угрюмо приказал скульптор. — Да нет, не туда! Вон в тот угол. Так!

Он снял с одной из фигур мокрые тряпки, придирчиво осмотрел ее со всех сторон, присел на корточки около керосинки, грея руки, и сказал:

— Ну вот он, Николай Васильевич! Теперь прошу!

Настя вздрогнула. Насмешливо, зная ее насквозь, смотрел на нее остроносый сутулый человек. Настя видела, как на его виске бьется тонкая склеротическая жилка.

«А письмо-то в сумочке нераспечатанное, — казалось, говорили сверлящие гоголевские глаза. — Эх ты, сорока!»

— Ну что? — опросил Тимофеев. — Серьезный дядя, да?

— Замечательно — с трудом ответила Настя. — Это действительно превосходно.

Тимофеев горько засмеялся.

— Превосходно, — повторил он. — Все говорят: превосходно. И Першин, и Матьяш, и всякие знатоки из всяких комитетов. А толку что? Здесь — превосходно, а там, где решается моя судьба как скульптора, там тот же Першин только неопределенно хмыкнет — и готово. А Першин хмыкнул — значит, конец!.. Ночи не спишь! — крикнул Тимофеев и забегал по мастерской, топая ботами. — Ревматизм в руках от мокрой глины. Три года читаешь каждое слово о Гоголе. Свиные рыла снятся!

Тимофеев поднял со стола груды книг, потряс ими в воздухе и с силой швырнул обратно. Со стола полетела гипсовая пыль.

— Это все о Гоголе! — сказал он и вдруг успокоился. — Что? Я, кажется, вас напугал? Простите, милая, но, ей-богу, я готов драться.

— Ну что ж, будем драться вместе, — сказала Настя и встала.

Тимофеев крепко пожал ей руку, и она ушла с твердым решением вырвать во что бы то ни стало этого талантливое человека из неизвестности.

Настя вернулась в Союз художников, прошла к председателю и долго говорила с ним, горячилась, доказывала, что нужно сейчас же устроить выставку работ Тимофеева. Председатель постукивал карандашом по столу, что-то долго прикидывал и в конце концов согласился.

Настя вернулась домой, в свою старинную комнату на Мойке, с лепным золоченым потолком, и только там прочла письмо Катерины Петровны.

— Куда там сейчас ехать! — сказала она и встала, — Разве отсюда вырвешься!

Она подумала о переполненных поездах, пересадке на узкоколейку, тряской телеге, засохшем саде, неизбежных материнских слезах, о тягучей, ничем не скрашенной скуке сельских дней — и положила письмо в ящик письменного стола.

Две недели Настя возилась с устройством выставки Тимофеева.

Несколько раз за это время она ссорилась и мирилась с неуживчивым скульптором. Тимофеев отправлял на выставку свои работы с таким видом, будто обрекал их на уничтожение.

— Ни черта у вас не получится, дорогая моя, — со злорадством говорил он Насте, будто она устраивала не его, а свою выставку. — Зря я только трачу время, честное слово.

Настя сначала приходила в отчаяние и обижалась, пока не поняла, что все эти капризы от уязвленной гордости, что они наигранны и в глубине души Тимофеев очень рад своей будущей выставке.

Выставка открылась вечером. Тимофеев злился и говорил, что нельзя смотреть скульптуру при электричестве.

— Мертвый свет! — ворчал он. — Убийственная скука! Керосин и то лучше.

— Какой же свет вам нужен, невозможный вы тип? — вспылила Настя.

— Свечи нужны! Свечи! — страдальчески закричал Тимофеев. — Как же можно Гоголя ставить под электрическую лампу. Абсурд!

На открытии были скульпторы, художники. Непосвященный, услышав разговоры скульпторов, не всегда мог бы догадаться, хвалят ли они работы Тимофеева или ругают. Но Тимофеев понимал, что выставка удалась.

Седой вспылчивый художник подошел к Насте и похлопал ее по руке:

— Благодарю. Слышал, что это вы извлекли Тимофеева на свет божий. Прекрасно сделали. А то у нас, знаете ли, много болтающих о внимании к художнику, о заботе и чуткости, а как дойдет до дела, так натыкаешься на пустые глаза. Еще раз благодарю!

Началось обсуждение. Говорили много, хвалили, горячились, и мысль, брошенная старым художником о внимании к человеку, к молодому незаслуженно забытому скульптору, повторялась в каждой речи.

Тимофеев сидел нахохлившись, рассматривал паркет, но все же искоса поглядывал на выступающих, не зная, можно ли им верить или пока еще рано.

В дверях появилась курьерша из Союза — добрая и бестолковая Даша. Она делала Насте какие-то знаки. Настя подошла к ней, и Даша, ухмыляясь, подала ей телеграмму.

Настя вернулась на свое место, незаметно вскрыла телеграмму, прочла и ничего не поняла:

«Катя помирает. Тихон».

«Какая Катя? — растерянно подумала Настя. — Какой Тихон? Должно быть, это не мне».

Она посмотрела на адрес: нет, телеграмма была ей. Тогда только она заметила тонкие печатные буквы на бумажной ленте: «Заборье».

Настя скомкала телеграмму и нахмурилась. Выступал Першин.

— В наши дни, — говорил он, покачиваясь и придерживая очки, — забота о человеке становится той прекрасной реальностью, которая помогает нам расти и работать. Я счастлив отметить в нашей среде, в среде

скульпторов и художников, проявление этой заботы. Я говорю о выставке работ товарища Тимофеева. Этой выставкой мы целиком обязаны — да не в обиду будет сказано нашему руководству — одной из рядовых сотрудниц Союза, нашей милой Анастасии Семеновне.

Перший поклонился Насте, и все зааплодировали. Аплодировали долго. Настя смутилась до слез.

Кто-то тронул ее сзади за руку. Это был старый вспыльчивый художник. — Что? — спросил он шепотом и показал глазами на скомканную в руке Насти телеграмму. — Ничего неприятного?

— Нет, — ответила Настя. — Это так... От одной знакомой...

— Ага! — пробормотал старик и снова стал слушать Першина.

Все смотрели на Першина, но чей-то взгляд, тяжелый и пронзительный, Настя все время чувствовала на себе и боялась поднять голову. «Кто бы это мог быть? — подумала она. — Неужели кто-нибудь догадался? Как глупо. Опять расходились нервы».

Она с усилием подняла глаза и тотчас отвела их: Гоголь смотрел на нее, усмехаясь. На его виске как будто тяжело билась тонкая склеротическая жилка. Насте показалось, что Гоголь тихо сказал сквозь стиснутые зубы: — «Эх, ты!»

Настя быстро встала, вышла, торопливо оделась внизу и выбежала на улицу.

Валил водянистый снег. На Исаакиевском соборе выступила серая изморозь. Хмурое небо все ниже опускалось на город, на Настю, на Неву.

«Ненаглядная моя, — вспомнила Настя недавнее письмо. — Ненаглядная!»

Настя села на скамейку в сквере около Адмиралтейства и горько заплакала. Снег таял на лице, смешивался со слезами.

Настя вздрогнула от холода и вдруг поняла, что никто ее так не любил, как эта дряхлая, брошенная всеми старушка, там, в скучном Заборье.

«Поздно! Маму я уже не увижу», — сказала она про себя и вспомнила, что за последний год она впервые произнесла это детское милое слово — «мама».

Она вскочила, быстро пошла против снега, хлеставшего в лицо.

«Что ж что, мама? Что? — думала она, ничего не видя. — Мама! Как же это могло так случиться? Ведь никого же у меня в жизни нет. Нет и не будет роднее. Лишь бы успеть, лишь бы она увидела меня, лишь бы простила».

Настя вышла на Невский проспект, к городской станции железных дорог.

Она опоздала. Билетов уже не было.

Настя стояла около кассы, губы у нее дрожали, она не могла говорить, чувствуя, что от первого же сказанного слова она расплачется навзрыд.

Пожилая кассирша в очках выглянула в окошко.

— Что с вами, гражданка? — недовольно спросила она.

— Ничего, — ответила Настя. — У меня мама... Настя повернулась и быстро пошла к выходу.

— Куда вы? — крикнула кассирша. — Сразу надо было сказать.

Подождите минутку.

В тот же вечер Настя уехала. Всю дорогу ей казалось, что «Красная стрела» едва тащится, тогда как поезд стремительно мчался сквозь ночные леса, обдавая их паром и оглашая протяжным предостерегающим криком.

... Тихон пришел на почту, пошептался с почтарем Василием, взял у него телеграфный бланк, повертел его и долго, вытирая рукавом усы, что-то писал на бланке корявыми буквами. Потом осторожно сложил бланк, засунул в шапку и поплелся к Катерине Петровне.

Катерина Петровна не вставала уже десятый день. Ничего не болело, но обморочная слабость давила на грудь, на голову, на ноги, и трудно было вздохнуть.

Манюшка шестые сутки не отходила от Катерины Петровны. Ночью она, не раздеваясь, спала на продавленном диване. Иногда Манюшке казалось, что Катерина Петровна уже не дышит. Тогда она начинала испуганно хныкать и звала: живая?

Катерина Петровна шевелила рукой под одеялом, и Манюшка успокаивалась.

В комнатах с самого утра стояла по углам ноябрьская темнота, но было тепло. Манюшка топила печку. Когда веселый огонь освещал бревенчатые стены, Катерина Петровна осторожно вздыхала — от огня комната делалась уютной, обжитой, какой она была давным-давно, еще при Насте. Катерина Петровна закрывала глаза, и из них выкатывалась и скользила по желтому виску, запутывалась в седых волосах одна-единственная слезинка.

Пришел Тихон. Он кашлял, сморкался и, видимо, был взволнован.

— Что, Тиша? — бессильно спросила Катерина Петровна.

— Похолодало, Катерина Петровна! — бодро сказал Тихон и с беспокойством посмотрел на свою шапку. — Снег скоро выпадет. Оно к лучшему. Дорогу морозцем собьет — значит, и ей будет способнее ехать.

— Кому? — Катерина Петровна открыла глаза и сухой рукой начала судорожно гладить одеяло.

— Да кому же другому, как не Настасье Семеновне, — ответил Тихон, криво ухмыляясь, и вытащил из шапки телеграмму. — Кому, как не ей.

Катерина Петровна хотела подняться, но не смогла, снова упала на подушку.

— Вот! — сказал Тихон, осторожно развернул телеграмму и протянул ее Катерине Петровне.

Но Катерина Петровна ее не взяла, а все так же умоляюще смотрела на Тихона.

— Прочти, — сказала Манюшка хрипло. — Бабка уже читать не умеет. У нее слабость в глазах.

Тихон испуганно огляделся, поправил ворот, пригладил рыжие редкие волосы и глухим, неуверенным голосом прочел: «Дождитесь, выехала. Остаюсь всегда любящая дочь ваша Настя».

— Не надо, Тиша! — тихо сказала Катерина Петровна. — Не надо, милый. Бог с тобой. Спасибо тебе за доброе слово, за ласку.

Катерина Петровна с трудом отвернулась к стене, потом как будто уснула.

Тихон сидел в холодной прихожей на лавочке, курил, опустив голову, сплевывал и вздыхал, пока не вышла Манюшка и не поманила в комнату Катерины Петровны.

Тихон вошел на цыпочках и всей пятерней отер лицо. Катерина Петровна лежала бледная, маленькая, как будто безмятежно уснувшая.

— Не дождалась, — пробормотал Тихон. — Эх, горе ее горькое, страданье неписаное! А ты смотри, дура, — сказал он сердито Манюшке, — за добро плати добром, не будь пустельгой ... Сиди здесь, а я сбегаю в сельсовет, доложу.

Он ушел, а Манюшка сидела на табурете, подобрав колени, тряслась и смотрела, не отрываясь на Катерину Петровну.

Хоронили Катерину Петровну на следующий день. Подморозило. Выпал тонкий снежок. День побелел, и небо было сухое, светлое, но серое, будто над головой протянули вымытую, подмерзшую холстину. Дали за рекой стояли сизые. От них тянуло острым и веселым запахом снега, схваченной первым морозом ивовой коры.

На похороны собрались старухи и ребята. Гроб на кладбище несли Тихон, Василий и два брата Малявины — старички, будто заросшие чистой паклей. Манюшка с братом Володькой несла крышку гроба и не мигая смотрела перед собой.

Кладбище было за селом, над рекой. На нем росли высокие, желтые от лишаев вербы.

По дороге встретилась учительница. Она недавно приехала из областного города и никого еще в Заборье не знала.

— Учителька идет, учителька! — зашептали мальчишки.

Учительница была молоденькая, застенчивая, сероглазая, совсем еще девочка. Она увидела похороны и робко остановилась, испуганно посмотрела на маленькую старушку в гробу. На лицо старушки падали и не таяли колкие снежинки. Там, в областном городе, у учительницы осталась мать — вот

такая же маленькая, вечно взволнованная заботами о дочери и такая же совершенно седая.

Учительница постояла и медленно пошла вслед за гробом. Старухи оглядывались на нее, шептались, что вот, мол, тихая какая девушка и ей трудно будет первое время с ребятами — уж очень они в Заборье самостоятельные и озорные.

Учительница наконец решилась и спросила одну из старух, бабу Матрену:

— Одинокая, должно быть, была эта старушка?

— И-и, мила-ая, — тотчас запела Матрена — почитай что совсем одинокая. И такая задушевная была, такая сердечная. Все, бывало, сидит и сидит у себя на диванчике одна, не с кем ей слова сказать. Такая жалость! Есть у нее в Ленинграде дочка, да, видно, высоко залетела. Так вот и померла без людей, без сродственников.

На кладбище гроб поставили около свежей могилы. Старухи кланялись гробу, дотрагивались темными руками до земли. Учительница подошла к гробу, наклонилась и поцеловала Катерину Петровну в высохшую желтую руку. Потом быстро выпрямилась, отвернулась и пошла к разрушенной кирпичной ограде.

За оградой, в легком перепархивающем снегу лежала любимая, чуть печальная, родная земля.

Учительница долго смотрела, слушала, как за ее спиной переговаривались старики, как стучала по крышке гроба земля и далеко по дворам кричали разноголосые петухи — предсказывали ясные дни, легкие морозы, зимнюю тишину.

В Заборье Настя приехала на второй день после похорон. Она застала свежий могильный холм на кладбище — земля на нем смерзлась комками — и холодную темную комнату Катерины Петровны, из которой, казалось, жизнь ушла давным-давно.

В этой комнате Настя проплакала всю ночь, пока за окнами не засинел мутный и тяжелый рассвет.

Уехала Настя из Заборья крадучись, стараясь, чтобы ее никто не увидел и ни о чем не расспрашивал. Ей казалось, что никто, кроме Катерины Петровны, не мог снять с нее непоправимой вины, невыносимой тяжести.

Подготовлено РДНТ МК РД